

От авторов

Мы, кажется, уже привыкли к тому, что из глубин советского безвременья нет-нет да и всплывает очередной литературный «памятник» — сталинской ли, хрущевской или брежневской эпохи.

«Памятник», лишь за чтение которого читатель мог тогда поплатиться свободой; ну а писатель ставил на карту жизнь.

Сейчас эти открытия закономерны: перестроечной революцией нарушена омерта всеобщего покорного безмолвия, и благодарный читатель получает наконец то, что у него долгие десятилетия силой отнимал тоталитаризм.

Предлагаемый сегодня роман «Евангелие от палача» — вторая часть дилогии (первая — роман «Петля и камень...» — была опубликована в конце 1990 года), написанной нами в 1976–1980 годах. Написанной — и надежно укрытой от бдительного «ока государева» до лучших времен.

К счастью, и авторы, и читатели до них дожили.

Все остальное — в самом романе.

Аркадий ВАЙНЕР

Георгий ВАЙНЕР

Декабрь 1990 года

МОСКВА

«Pereat mundus fiat justitia»

(Переат мундус фиат юстициа)

«Правосудие должно свершиться, хотя бы погиб мир».

ГЛАВА 1

Успение Великого Пахана

Я знал, что этого делать нельзя. Я умел верить ему, этому странному распорядителю моих поступков, не раздумывая. Вперед ума, вперед любой оформившейся мысли он безошибочно давал команду: «Можно!» Или: «Нельзя!»

Я ему верил, у него была иная, не наша мудрость.

И он отчетливо сказал внутри меня: «Нельзя!»

А я впервые за долгие годы, может быть впервые с самого детства, не послушал его. Побоялся ответить ему: «Заткнись!», а просто сделал вид, что не слышал. Как делает вид сбежавший с урока школьник-прогульщик, которому кричит из окна учитель: «Вернись!»

Не послушался. И остался в анатомической секционной...

Мы несли носилки вчетвером. Этих троих я не знал, наверное, и не видел никогда. Если бы видел — запомнил. Но они были не из охраны. Тех гладких дураков сразу видеть. Их и на Даче я не заметил. Только потерянно метался по огромному дому их командир — начальник «девятки» генерал Власик.

По его красивому, слепому от испуга и глупости лицу катились слезы. Он плакал по-настоящему. Почему-то у всех встречных спрашивал: а где Вася?..

Все слышали, как Вася, безутешно-пьяный, мычал и орал что-то — может быть, пел? — в маленькой гостиной за кабинетом. Но от Власика почему-то отмахивались,

и он, оглохший, продолжал искать своего друга и собутельника. Сына Зеницы Ока, которую столько лет берег, и стерег, и хранил. А теперь Власик плакал.

«Если увидеть плачущего большевика...»

Может быть, он был умнее, чем мне казался тогда?

Может быть, он плакал от страха? Столько лет он охранял величайшую силу и власть мира, а она уже три часа мертва, и он охраняет теперь то, чего нет. Да разве он еще что-то охраняет?

Нас привезли сюда в шести больших лимузинах — человек тридцать отборных бойцов из оперативного Управления, но, когда мы вошли в дом, выяснилось, что Лаврентий уже приказал вывести оттуда всю внутреннюю охрану.

Никогда Лаврентий не доверял Власику. Он знал, что тот будет в страшный час плакать искренне по Тому, Кого охранял. Лавр не уважал преданных людей, он знал, что на преданных людей нельзя надеяться, ибо стоят они на ненадежном фундаменте любви и благодарности, а вернее сказать — глупости.

Вроде бы считалось, что Власик подчиняется Лаврентию по службе, но это было не так. Он не подчинялся никому, кроме Того, Кого охранял. Власик принадлежал Ему, как немецкая овчарка Тимофей.

Власик был предан, то есть он любил Того, Кого охранял. Был ему всегда благодарен. А вернее сказать — глуп.

В остывающем теле еще, наверное, сочилась кровь, еще росли ногти, тихо бурчали газы в животе, хотя зеркальце, поднесенное к толстым усам, уже не мутнело; и наши черные длинные лимузины только вырвались с жутким ревом сирен с лубянского двора, а Лаврентий уже приказал вывести с Дачи внутреннюю охрану.

В доме ходила заплаканная и злая рыжая дочка Светлана и негромко безобразничал мучительно-пьяный сын Василий. И всем еще распоряжался преданный глупец Власик.

Рассчитать поведение глупого, любящего, благодарно-го человека невозможно. Ну его!..

Власик подходил к людям, спрашивал, что-то говорил, но ему уже никто не отвечал, будто он натянул на себя гигантский презерватив и раздул его изнутри — своим отчаянием и потерянной — в прозрачный и непроницаемый шар, который с бессловесным бормотанием тыкался во всех встречных и отлетал в сторону, отброшенный их ужасным волнением и полным пренебрежением к нему самому. Он был никому не интересен.

Тот, Кого он охранял, умер, значит он уже никого не охранял, он был предан Ничему, а внутреннюю охрану, преданную генералу, уже вывели из дома, и он катался по комнатам пустым надутым прозрачным шаром, догадываясь в тоске, что, как только Лаврентий вспомнит о нем, кто-то сразу же проколет его оболочку, и всесильный фаворит с легким пшиком — вместе с его уже неслышимыми словами, ненужными слезами и глупым красивым лицом — исчезнет навсегда.

Я впервые видел всех вождей вместе. Не считая, конечно, праздничных демонстраций, когда они на трибуне Мавзолея Являли Себя. Обычно же мне доводилось видеть их близко, но всегда порознь. А здесь они были вместе. Каждый знал о ком-нибудь кое-что. Лаврентий знал все обо всех.

Без окон, без дверей полна горница вождей.

Молотов незряче смотрел прямо перед собой, и на плоской пустыне его лица слабо поблескивали стеклышки пенсне, вцепившегося в маленькую пипку картофельного носа. Не лик — тупой зад его бронированного «паккарда».

Было видно, как он думает: вяло и робко прикидывает, кто поведет сейчас гонку, чтобы вовремя сесть лидеру на хвост. Мечтает угадать, кому придется подлизывать задницу прямо с утра. Он числился вторым, он был согласен стать пятым.

Великий Пахан совсем его затюкал.

Булганин рассеянно пощипывал клинышек бородки, меланхоличный и раздражительный, как бухгалтер, замученный утренним запором. Пощипывание бородки

не было тревожным раздумьем — подтянуть ли в Москву Таманскую дивизию? Наверное, он прикидывал: содрать эту маскарадную бородку, эту кисточку с подбородка, или пока еще можно оставить?

Великий Пахан позволял ее, — может, и эти разрешат?

Шурочка, белесая пухлая баба без возраста — домоправительница и подстилка Пахана, — шмурыгая покрасневшим носиком, подносила вождям чай и бутерброды с ветчиной.

Очень хотелось есть, но мне этих бутербродов не полагалось. Розовые ломти мяса с белой закраинкой сала нарезал для вождей в буфетной полковник Душенькин. От окорока, пробитого свинцовой пулей с оттиском спецлаборатории: «ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НЕТ». Последние двадцать лет полковник Душенькин пробовал всю еду сам, перед тем как подать ее на стол Пахана.

Проба. Проба еды. Проба питья. Проба души. Душенькин.

А Ворошилов есть не хотел. Он хотел выпить. Но Шурочка никакой выпивки не давала. Попросить, видно, стеснялся, а выходить нельзя было: он не желал выходить из комнаты, оставив своих горящих соратников вместе — без себя. И все его красно-бурое седастое лицо пожилого хомьяка выражало томление.

Хрущев и Микоян сидели за маленьким столиком, и, когда они передавали друг другу бутерброды, подвигали чашки и протягивали сахарницу, казалось, что они играют в карты: хмурились, тяжело вздыхали, терли глаза, вглядывались в партнера пристально, надеясь сообразить, какая у него на руках сдача.

Тугая хитрожность куркуля сталкивалась с азиатским криводушием, и над их остывшим чаем реяли электрические волны подозрительности и притворства, трещали неслышные разряды подвохов.

Хищный профиль Микояна резко наклонялся к столу, когда он глотал очередной кусок. Гриф, жрущий только мясо.

Но всегда падаль.

А Хрущев пальцами рвал ломти, кидал ветчину на тарелку и съедал только сало. Далеко закидывал голову, чтобы удобнее было глотать. И разглядывал этого цыгана — или армяна, один черт, — молча предлагавшего сомнительную лошадь.

Я бы охотно доел куски сочного розового ветчинного мяса. Но тогда Хрущев мне еще ничего не предлагал со своего стола.

Я их доел через несколько месяцев.

А тогда он помалкивал и раскатывал по скатерти хлебный мякиш и, только превратив его в грязно-серый глянцеви́тый катышек, рассеянно кидал в рот.

Неинтересный мужичок. Куцый какой-то.

Почему-то совсем плохо помню, что подельывал Каганович. Он сидел где-то в углу, толстый, отекололицый, шумно-дышащий — просто еврейский дубовый шкаф.

Мебель. «Möbel». Меблированные комнаты. Меблирашки.

Только Лаврентий с Маленковым не сидели — они все время ходили по большой приемной, держась под ручку, как молодые любовники. Неясно было только, кто кому поставит пистон. И беспрерывно говорили, и что-то объясняли друг дружке, и советовались, в глаза заглядывали и жарко в лицо дышали, и было сразу заметно, что они такие друзья, что и на миг не могут оторваться один от другого.

«Хоть чуть-чуть разомкнутся объятья», — пелось в старинном романсе. Тут вот один другого и укокошит.

Но Лаврентия нельзя было укокошить. Может быть, он знал или предчувствовал, что Великий Пахан помрет этой ночью. Или надеялся. Или руку приложил — я ведь ничего не видел, нас позже привезли. Во всяком случае, Лавр был готов к этому рассвету.

Как сказал поэт — треснул лед на реке в лиловые трещины...

Пока вожди опасливо переглядывались, прикидывая свои и чужие варианты, жрали бутерброды с ветчиной,

опломбированной полковником Душенькиным, пока рассчитывали, с чем войдут в наступающее утро своей новой жизни, Лаврентий ходил по приемной в обнимку с Маленковым, который тер отложной воротник полувоенного защитного кителя вислыми брыльями своих гладких бабьих щек.

И помаленьку стала подтягиваться в эти быстрые минуты короткого предрассветья вся боевая хива Лаврентия. Сначала приоткрыл дверь и в сантиметровую щель юркнул, встал застенчиво у притолки печальной тенью издатель Деканозов, грустный косоглазый садист.

Принес какой-то пакет Судоплатов, бывший партизанский главнокомандующий, вручил его Лаврентию, огляделся и тоже застыл в приемной.

В синеве небритой утренней щетины, в тяжелом чесночном пыхтенье появился Богдан Кобулов, который был так толст, что в его письменном столе пришлось вырезать овальное углубление для необъятного живота. Сел, никого не спрашивая, в кресло, окинул вождей тяжелым взглядом своих сизых восточных слив и будто задремал. Но никто не поверил, что он задремал.

Брат его, стройный красавец генерал Амаяк Кобулов, услада глаз педика.

Черно-серый, как перекаленный камень, генерал-полковник Гоглидзе.

Что-то пришептывал ехидно-ласковый лях Влодзимирский.

Озирался по сторонам, будто присматривая, что отсюда можно ляпнуть, Мешик.

Лениво жевал сухие губы страшный, как два махновца, генерал Райхман.

Толстомордый выскочка, начальник Следственной части МГБ Рюмин — Розовый Мишка.

Горестно вздыхающий генерал нежных чувств Браверман — умник и писатель, автор сюжетов почти всех политических заговоров и шпионских центров, раскрытых за последние годы.

Их было много.

И все они были в форме нашей Конторы. За долгие годы я почти никого из них не видел в форме. Зачем она им? Мы их и так знали. Все, кому надо, их знали. А тут они были в генеральских мундирах.

Они стояли за Лавром, как занавес Большого театра: парчово-золотой и красно-алый.

Не произнося ни слова, Лаврентий показывал партикулярным вождям, у кого сейчас сила. А те завороженно смотрели на его разбойную гопу, и я знал, что сегодня он у них получит все, что потребует.

Но, словно живое опровержение этой мысли, возник в дверях элегантный, с английским, в струночку, пробормом, замминистра ГБ Крутованов.

И я понял, что если вожди поспеют, то и с Лаврентием покончат скоро. Успех достался ему слишком легко. Это располагает к беспечности.

А мне — как только появится случай — надо перебираться на другую сторону. Репертуар этих бойцов исчерпан. После Великого Пахана на его роль здесь может претендовать только клоун.

Я бы еще долго с интересом и удовольствием рассматривал их сквозь большие стеклянные двери приемной: они жили в таинственной глубине нереального мира, будто в утробе огромного телевизора, словно стоворившись дать единственный и небывалый концерт самодеятельной труппы настоящих любителей лицедейства, поскольку все играли, хоть и неумело, но с большим старанием, играли для себя, без зрителей, играли без выученного текста, они импровизировали с тем вдохновением, которое подсказывает яростное стремление выжить.

Но из спаленки усопшего Пахана вышли врачи, белые халаты которых так странно выглядели здесь, среди серозелено-черной партикулярщины вождей и золотопогонной шатии Лавра. Им здесь не место.

Я видел, как шевелятся их губы. Приподнялось тяжелое веко Богдана Кобулова. Треснула сизая слива, внутри была видна набрякшая кровавая мякоть белка. Внимательно

слушал, что говорили врачи. Взглянул на Лаврентия, тот кивнул. Кобулов легко, сильно вышвырнул свою тушу из глубокого кресла, быстро, как атакующий носорог, прошел через приемную, снял с аппарата телефонную трубку, что-то буркнул.

Потом вынырнул из-за стеклянной двери, из глубины телевизора — за экран, ко мне, на лестничную площадку.

— Повезешь товарища Сталина в морг...

Мы несли носилки вчетвером. Из черного жерла санитарного ЗИСа выкатили носилки и понесли их по длинному двору института патанатомии. Чавкал под ногами раскисший мартовский снег, пахло мокрыми тополями, хлесткий влажный ветер ударял в лицо изморосью. Из-за забора торчал гигантский фаллический символ мира: блекло-серый в ночи купол Планетария.

Спящий город показывал уходящему Хозяину непристойный жест.

А у ворот института, во дворе, перед плохо освещенным служебным входом толпились, сновали, колготились наши славные боевые топтуны. Некоторые отдавали длинному белому кулю на носилках честь, становились смиренно, плакали. И на нас — четверых — смотрели с испугом и почтением. Дураки.

Они принимают нас за особ, особоприближенных. Неизвестных им маршалов. Кому еще доверят — в последний путь?

Дураки. Книг не читают.

«И маршалы зова не слышат...»

Меня лично Кобулов особо приблизил к праху потому, что знает: я за минуту могу вручную перебить человек десять. Это мое главное умение в жизни. Да, наверное, особа, несущая носилки слева, и те двое — сзади, в ногах, — приблизились по той же причине.

Пахан при жизни был невысок, точнее сказать, совсем маленького роста, и к смерти еще подсох сильно, а все равно — тяжелый был, чертяка. Мы прямо упарились, тащивши. Но передать носилки кому-нибудь из этих сломяющихся вокруг дармоедов нельзя. Только мы — особы особоприближенные.

Во все времена стояли мы на огромной таинственности, внутри которой — просто глупость.

Синий фонарик над входом, полутемная лестница, пыльный свет маленьких ламп. Железная дверь грузового лифта, тяжелая и окончатальная, как створки печи крематория. Этот лифт всегда возит мертвый груз. И приближенных особ.

К кому?

Затекли руки, а кабина лифта не вызывается. Не идет вниз. Где-то наверху застряла. Топтуны вокруг нас стучат кулаками в железную дверь, тихо матерятся, кто-то побегал вверх по лестнице. Воняет кошатиной, формалином, падалью.

Ладья Харона села на мель. Увязла в тине на том берегу.

Мы все четверо мечтаем поставить носилки на пол. Пусть натруженные руки хоть маленько отдохнут. Или хотя бы поменяться местами.

Нельзя. Мы — особы особоприближенные. Мы вместо маршалов, которым сейчас не до этого. Да и много бы они тут надержали, серуны.

Почему ты, Пахан Великий, такой тяжелый? Откуда в тебе эта страшная, непомерная тяжесть?

Сверху бежит тот, что поднимался пешком, кричит со второго этажа задушенным шепотом: «Предохранитель! Вставку выбило!»

— Пошли! — говорю я особе слева и начинаю заворачивать носилки на лестницу. Окликнул старшего из топтунов, приказал держать мою ручку от носилок, цыкнул грозно: «Помни, что доверили!» — а сам пошел перед ними, вроде под ноги им смотреть на лестнице, упаси господь, не растянулись чтобы.

Вместе с прахом. Это не прах. Это свинец.

Неуставший, гордый, семье вечером расскажет, ладони будет показывать: «Вот этими самыми руками...» — попер топтун вверх, как трактор, а я шел перед ним, командовал строго, негромко, озабоченно: налево-налево, стой, ноги заноси, теперь аккуратно, здесь высокая ступенька, теперь направо...

На третьем этаже — секционный зал, плеснувший в лицо ярким светом и смрадом.

Здесь было много врачей: те, которых я видел на Даче, около спальни почившего Пахана, и какие-то другие — не в обычных врачебных халатах, а в белых дворницких фартуках, надетых прямо на белье, с высоко засученными рукавами. Они вели себя как хозяева — строго опрашивали тех, кто вернулся с Дачи, важно мотали головами, коротко переговаривались, и все время между ними витали какие-то значительные словечки: бальзамирование... консервант... паллиативная сохранность... эрозия тканей...

Молодцы! Пирамида у нас маленькая, а Хеопс — большо-о-ой!

Мы переложили Пахана с носилок на длинный мраморный стол, залитый слепящим молочным светом, и рыжий потрошитель, похожий на базарного мясника, коротко скомандовал: «Вы все свободны!»

Но я решил остаться.

Я и сам не знаю, что я хотел увидеть, в чем убедиться.

Понять, загадать, предсказать.

Просто мне надо было увидеть своими глазами.

И тайный распорядитель моих поступков кричал во мне: НЕЛЬЗЯ! УХОДИ! Моя скрытая сущность, моя истинная природа, альтер эго подполковника МГБ Хваткина, пыталась уберечь меня от какого-то ужасного разочарования, или большой опасности, или страшного открытия.

Но я не подчинился.

Взял за плечи своих спутников — особоприближенных, а старшему топтуну и повторять не надо, они дис-

циплинированные, — повел их к выходу и, закрывая за ними дверь, шепнул:

— Сюда никого не пускать, я побуду здесь.

Скинули простыни с тела. Рыжий потрошитель посмотрел на желтоватого старика, валяющегося на сером камне секционного стола, взял широкий, зло поблескивающий нож, но воткнуть не решался. У него дрожали руки. Он обернулся, увидел меня, уже открыл рот, чтобы вышибить из секционной — я знал, что ему надо на кого-нибудь заорать, чтобы собраться с духом.

Я опередил его, сказавши почти ласково, успокаивающе:

— Не волнуйтесь, можете начинать!

Он зло дернул плечами, бормотнул сквозь зубы — черт знает что! — решил, видимо, что я приставлен его стеречь, махнул разъяренно рукой и вонзил свой нож Пахану под горло.

Господи боже ты мой всеблагий!

Увидел бы кто из миллионов людей, мечтавших о таком мгновении, когда вспорют ножом горло Великому Пахану:

— как жалко дернулась эта рыже-серая, будто в густой перхоти, голова;

— услышали бы они, как глухо стукнул в мертвецкой тишине затылок о камень!

Исполнение мечтаний — всегда чепуха. Они мечтали увидеть нож в горле у Всеобщего Папаши, толстую дымящуюся струю живой крови. А воткнули нож дохлому старику, и вместо крови засочилась темной струйкой густая сукровица.

От ямки под горлом до лобка нож прочертил черную борозду, и кожа расступалась с негромким треском, как ватманский лист. В разрез потрошитель засунул руки, будто влез под исподнюю рубашку и под ней лапал Пахана, сдирая с него этот последний ненужный покров.

И от этих рывков с трудом слезающей шкуры голова Пахана елозила и моталась по гладкому мрамору стола, и подпрыгивали, жили и грозились его руки. Шлепали по камню очень белые ладони с жирными короткими страшными пальцами.

Из-под полуприкрытых век виднелись желтые зрачки. Мне казалось, что он еще видит нас всех своими тигриными глазами, не знающими смеха и милости. Он следил за своим потрошением. Он запоминал всех.

Большой горбатый нос в дырах щербатин. Вот уж у кого черт на лице горох молотил!

Толстые жесткие усы навалились на запавший рот.

Пегие густые волосы. Когда-то рыжие, потемнели к старости, потом засолились сединой, а теперь намokли от сукровицы.

Бальзам потомкам сохранит
Останки брeнной плоти...

С хрустом ломали щипцы грудинные кости. Потрошитель вынул грудину целиком — пугающий красный треугольный веер. Кому не жарко на дьявольской сковороде?

А в проеме — сердце, тугой плотный ком, изрубленный шрамом. Люди взывали к нему десятилетиями. К мышце, заизвесткованной склерозом.

О, какое было сердитое сердце! Оно знало одно сердоболie — инфаркт.

И все время косился я на его половой мочеиспускательный детородный член, и было мне отчего-то досадно, что он у него маленький, сморщенный, фиолетовый, как засохший финик. Глупость какая — все-таки отец народов!

А в остальном — все как у всех людей.

Анатомы резали Пахана, пилили и строгали его, выворачивали на стол пронзительно-синие, в белых пленках кишки, багровый булыжник печени, скользили по мрамору чудовищные фасолины почек.

Господи! Вся эта кровавая мешанина дохлого мяса и старых хрустких костей еще вчера управляла миром, была его судьбой, была перстом, указующим человечеству.

Если бы хоть один владыка мира смог побывать на своем вскрытии!

А потом они принялись за голову. Собственно, из-за этого я и терпел два часа весь кошмар. Я хотел заглянуть ему в голову.

Не знаю, что ожидал я там увидеть.

Электронную машину?

Выпорхнувшую черным дымом нечистую силу?

Махоньких, меньше лилипутов, человечков — марксистка, гитлерка, лениночка, — по очереди нашенщывавших ему всегда безошибочные решения?

Не знаю. Не знаю.

Но ведь в этой круглой костяной коробке спрятан удивительный секрет.

Как он все это сумел? Я хочу понять.

Потрошитель-прозектор полоснул ножом ржаво-серую шевелюру — от уха до уха, и сдвинувшаяся на лбу мертвеца кожа исказила это прищуренное горбоносое лицо гримасой ужасного гнева.

Все отшатнулись. Я закрыл глаза.

Еле слышный треск кожи. Стук металла по камню. Тишина. И пронзительно-едкое подвизгивание пилы.

Когда я посмотрел снова, то скальп уже был снят поперек головы, а прозектор пилил крышку черепа ослепительно бликующей никелированной ножовкой.

Пахану навернули на лицо собственную прическу.

— Готово! — сказал прозектор и ловко скovyрнул с черепа верхнюю костяную пиалу. Он держал ее на вытянутых пальцах, будто собирался из нее чай пить.

Мозг. Желтовато-серые в коричнево-красных пятнах извивистые бугры.

Здоровенный орех. Орех. Конечно, орех. Большущий усохший грецкий орех.

Орех. Как хорошо я помню крупный звонкий орех на черенке с двумя разлапистыми бархатно-зелеными листьями, что валялся утром на ровно посыпанной желтым песком дорожке сада пицундской дачи Великого Пахана.

Я охранял покой в саду под его окнами. И еле слышный треск привлек мое внимание — сентябрьский орех сам упал с дерева, еще трепетали его толстые листья.

Поднял орех, кожура его уже шелушилась, он был ядреный и чуть холодновато-влажный от росы, он занимал всю пригоршню. Кончик финки я засунул в узкую черную дырочку его лона, похожую на таинственную щель женского вместилища, нажал чуть-чуть на нож, и створки со слабым хрустом разошлись.

Где-то там, внутри еще не распавшихся скорлупок, было ядро — бугорчатый желтоватый мозг ореха.

Но рассмотреть его я не смог. Мириады крошечных рыжих муравьев, словно ждавших от меня свободы, рванулись брызгами из ореха. Я не сообразил его бросить, и в следующий миг они ползли по моим рукам, десятками падали на костюм, они уже пробрались ко мне за рубаху.

Они ползли по лезвию ножа.

Я стряхивал их с рук, хлопал по брюкам, давил их на шее, на лице, они уже кусались и щекотали меня под мышками и в паху.

Душил их, растирал в грязные липкие пятнышки, они источали пронзительный кислый запах. Особенно те, что уже попали в рот.

Рыжие маленькие мурашки.

Я разделся догола и нырнул в декоративный прудик. Муравьи всплывали с меня, как матросы с утонувшего парохода. Грязно-рыжими разводами шевелились они на стоялом стекле утренней воды.

У бортика валялся орех — в одной половинке костяного панциря. Внутри было желто-серое, бугристое, извивистое, усохшее ядро.

Выползали последние рыжие твари.

Старый мозг. Изъеденный орех. Ядро злоумия.

* * *

...Я проснулся через двадцать пять лет. В какой-то темной маленькой комнате со спертым воздухом. Рядом лежала голая баба.

На никелированной кровати с дутыми шарами на спинках. Я толкнул подругу в бок и, когда она подняла свою толстую заспанную мордочку с подушки, спросил:

— Ты кто?

— Я?.. Я — штукатур. — Уронила голову и крепко, пьяно заснула.

Через двадцать пять лет. После успения Великого Пахана.

ГЛАВА 2

Скандал

Она уснула, а я проснулся окончательно. Проклятье похмелья — раннее пробуждение. Проклятье наступающей старости.

В похмелье и в старости люди, наверное, острее чувствуют — сколь многого они не сделали и как мало осталось времени. Хочется спать, а неведомая сила поднимает тебя и начинает кружить, мучить, стыдить: думай, кайся, продлевай остаток...

Я не чувствую себя стариком, но думать тяжело: болит голова, подташнивает, нечем дышать.

Любимая девушка рядом со мной громко, с присвистом дышала. У нее наверняка аденоиды. Штукатур. Почему? Где я взял ее?

От нее шел дух деревенского магазина — кожи, земляничного мыла, духов «Кармен» и селедки.

Что-то пробормотала со сна, повернулась на бок, закинула на меня тяжелую плотную ляжку и, не просыпаясь, стала гладить меня. Она хотела еще.

Когда она посмотрела на меня, показалось мне, что у нее искусственный глаз. Протез. А может, бельмо. Или фингал?

Господи, где это меня угораздило?

Измученный вчерашней выпивкой организм вопиял. Он умолял меня дать ему пива, водочки, помыть в горячем душе и переложить с никелированной кровати одноглазой девушки-штукатура в его законную финскую койку.

И дать поспать. Одному. Без всяких там поглаживаний и закидывания горячих мясистых ляжек.

Но как я попал сюда?

Я задышался от пронзительно-пошлого запаха «Кармен», он сгущался вокруг меня, матерел, уплотнялся, переходил в едкую черно-желтую смолу, которая быстро затвердевала, каменела. Пока не стала твердью. Дном бездонной шахты времени, на котором я лежал скорчившись, прижатый огненной бульонкой одноглазого штукатура. Запах «Кармен» что-то стронул в моем спящем мозгу, своей невыносимой остротой и пакостностью нажал какую-то кнопку памяти и вернул меня на двадцать пять лет назад.

* * *

Оторвался от дна и поплыл вверх — навстречу сегодня.

Вот разжидилась вонь «Кармен», проредела, и я всплыл в высокомерно-наглый смрад «Красной Москвы». Он набирал силу и ярость, пока я, теряя сознание, проплыл через фортиссимо его невыносимого благовония, и понесло на меня душком почти забытым — застенчиво-острым и пронзительно-тонким, словно голоса любимых певиц Пахана — Лядовой и Пантелеевой. Это текли мимо меня, не смешиваясь, «Серебристый ландыш» и «Пиковая дама».

Я плыл через время, я догонял сегодня. Пробирался через геологический срез пластов запахов моей жизни — запахов всех спавших со мною баб.

Сладострастная тягота арабских духов. Половая эссенция, выжимка из семенников. Эрзац собачьих визиток на заборах. Амбре еще не удовлетворенной похоти.

Забрезжил свет: стало понемногу наносить духом «Шанель» и «Диориссимо». Я всплывал в сегодня, точнее — во вчера. Женщины, с которыми я был вчера, пахли французскими духами.

Это запах моего «нынче», это запах моих шлюх. Моих хоть и дорогих, но любимых девушек.

Я вспомнил, что было вчера. Вспомнил и испугался.

Вчера меня приговорили к смерти.

Чепуха какая! Дурацкое наваждение. Я презираю мистику. Я материалист. Не по партийному сознанию, а по жизненному ощущению.

К сожалению, смерть — это самая грубая реальность в нашем материальном мире. Вся наша жизнь до этой грани — мистика.

Нешлохо подумать обо всем этом, лежа в душной комнатенке прижатым к пружинному матрасу наливной ляжкой девушки-штукатура, имени которой я не знаю.

А кем назвался тот — вчерашний, противный и страшный? Как он сказал о себе?

— ...Я — истопник котельной третьей эксплуатационной конторы ада...

Неумная, нелепая шутка. Жалобная месть за долгие унижения, которым я его подвергал в течение бесконечного разгульного вечера.

Истопник котельной. Может быть, эта штукатур — из той же конторы? Какие стены штукатуришь? На чем раствор замешиваешь?

Я столкнул с себя разогретую в адской котельной ляжку и пополз из кровати. Человек выбирается из болотного бочага на краешек тверди. Надо встать, найти в этой густой темноте и вонюще свою одежду.

Беззащитность голого. Дрожь холода и отвращения. Как мы боимся темноты и наготы! Истопники из страшной котельной хватают нас голыми во мраке.

Он подсел к нам в разгар гулянки в ресторане Дома кино.

В темноте я нашарил брюки, носки, рубаху. Лягушачий холод кожаного пиджака, валявшегося на полу. Сладострастное сопение штукатура. Не могу найти кальсоны и галстук. Беспробудно дрыхнет моя одноглазая подруга,

мой похотливый толстоногий циклоп. Не найти без нее кальсон и галстука.

Черт с ними. Хотя галстук жалко: французский, модный, узкий, почти ненадеванный. А из-за кальсон предстоит побоище с любимой женой Мариной.

Если истопника вчера не было, если он — всплеск сумасшедшей пьяной фантазии, тогда эти потери как-нибудь переживем.

Если истопник вчера приходил, мне все это — кальсоны, галстук — уже не нужно.

Ненавидя себя и мир, жалкую горько о безвозвратно потерянных галстуке и кальсонах, я замкнул микрокосм и макрокосм своим отворачиванием и страхом. Кримпленовые брюки на голое тело неприятно охладили, усугубляли ощущение незащищенности и бесштанности.

Не хватало еще потерять ондатровую шапку. Мало того что стоит она теперь втридорога, пойдешь еще достанешь ее. Мне без ондатры никак нельзя. Генералам и полковникам полагается каракулевая папаха, а нам — пыле штатским — ондатровая ушанка. Это наша форма. Партипаха. Госпапаха.

Папаха. Папахен. Пахан.

Великий Пахан, с чего это ты сегодня ночью явился ко мне? Или это я к тебе пришел на свидание?

Меня привел к тебе проклятый истопник. Откуда ты взялся, работник дьявола? Третья эксплуатационная контора.

Давным-давно, когда я служил еще в своем невидимом и вездесущем ведомстве, мы называли его промеж себя скромно и горделиво — КОНТОРА. Контора. Но она была одна-единственная. Никакой третьей, седьмой или девятой быть не могло.

Вот она валяется, ондатра, дорогая моя — сто четыре сертификатных чека, — крыса мускусная моя, ненаглядная. Завезенная к нам невеста когда из Америки.